
Чалмаев В.А.

«Донские рассказы» (1926) — новеллистический пролог «Тихого Дона»

Молодой Шолохов в «Донских рассказах» еще только приближался к глубокому осмыслению извечных закономерностей народной жизни, вовсе не отмененных войнами, взрывами ненависти, «годиной смуты и разврата» («Тихий Дон»).

Молодой прозаик, вероятно, не знал ответа на вопрос, почему те или иные жизненные ситуации завершались или отцеубийством («Бахчевник»), или сыноубийством («Родинка»), или смертельной борьбой между братьями («Коловерть»). Есть в «Донских рассказах» кровавый отблеск неистовых классовых битв, отблеск не суда, а самосуда над всем, что не «слушается» революции:

«Я — человек прямой, у меня без дуростей, я хлеб с нахрапом качал. Приду со своими ангелами к казаку, какой побогаче, и сначала его ультиматой: “Хлеб!” — “Нету”. — “Как нету?” — “Никак, говорит, гадюка, нету”. Ну я ему, конечно, без жалостей маузер в пупок воткну и говорю малокровным голосом: “Десять пулев в самостреле, десять раз убью, десять раз закопаю и обратно наружу вырою! Везешь!”» («О Донпродкоме и злоклучениях заместителя Донпродкома товарища Птицына», 1923–1925).

Но уже и тогда Шолохова не устраивали целиком такие трафареты для оправдания убийств или для обоснования добрых поступков, которые мелькают в «Донских рассказах»:

«Петька Кремнев сказал как-то: Махно — буржуйский наемник» («Путь-дороженька»);

«А теперь мы тебя вылечили, пускай твое сердце еще постучит — на пользу рабоче-крестьянской власти» («Алешкино сердце»);

«Я матерно их агитировал, и все со мной согласились, что Советская власть есть мать наша кормилица и за ейный подол должны мы все категорически держаться» («Председатель реввоенсовета Республики»).

Правда, в самой свободе имитации, сгущения этих угроз, всей митинговой фразеологии террора, дурацкого чванства уже чувствуется свобода Шолохова: «зверствуете по причине нашей несознательности», «получится нападение белых гидров»; «думаешь, я не вижу, как ты нюхаешься с мужиками»; «показательный суд устроим и шлепнем» (то есть расстреляем)... Он не сливается с героями.

Литература тех лет изобилует подобными фразами. Пожалуй, наиболее интересным в этом плане был прозаик Артем Веселый. По воле того времени, чтобы быть вполне революционным, он, сын волжского крючника (грузчика) Кочкурова, пулеметчик на фронтах гражданской войны, стал Артемом Веселым (изменив и свое имя Николай). Страсть романтизировать, взвинчивать события, укрупнять, а скорее хаотизировать их заставила его, первого грамотного в своем роду, давать такие названия своим произведениям о гражданской войне: «Разрыв-трава» (1921), «Реки огненные» (1923), «Гуляй, Волга» (1932) и, наконец, «Россия, кровью умытая» (1927–1932).

В этих повестях и романах он и форму повествования делал «революционной»: вместо частей — «крылья», вместо глав — «залпы», вместо предложений — «рубленая», отрывистая речь.

Невелик был опыт Шолохова-продотрядника, свидетеля террора, стихийных убийств, но он в «Донских рассказах» уже задумался: а можно ли так легко, «романтично» писать о расстрелах, о противоборстве в семьях, о конфликтах кровно близких людей? Можно ли вообще без содрогания употреблять такие формулы, как «Россия, кровью умытая»?

Язык Шолохова сопротивляется схематичному, шаблонному оправданию однообразного, на все случаи жизни, насилия. Шолохов еще повторял многое, что было запечатлено

в прозе 20-х годов, фразеологизмы документов, плакатов, но он уже шел к иному, многомерному взгляду на события и людей, к духовным скитаниям казачьего гамлета Григория Мелехова. Шолохов и в «Донских рассказах» пробует, с оговорками правда, отстоять приоритет самой жизни, ее ценность, независимо от того, в чьем лагере родился сегодняшний младенец.

Критики 20-х годов обвиняли Шолохова: мол, биологическая жалость берет в герое верх над классовым сознанием.

Михаил Шолохов, как и многие молодые поэты, прозаики 20-х годов, был частично дезориентирован. Он часто не знал, к каким ценностям обратиться, чтобы спасти человеческое в человеке, сохранить распадающееся среди взрывов ненависти единство народной жизни. «Есть классики, но важнее классы»; «он с тобой одного рода, да не одного класса» — такие жизненно-философские формулы властвовали над умами писателей. Сама по себе верная мысль, что только та революция чего-то стоит, которая может защитить себя, часто доводилась до абсурда: пусть единственным аргументом защищающейся революции станет вечное, часто слепое, насилие, террор! Но ведь революция могла защищать, утверждать себя совсем по-иному, развертывая свой гуманистический потенциал, не через ограбление человека, деморализацию его в мире наживы.

Михаил Шолохов в канун создания своей эпопеи все же догадывается, что гипертрофия насилия представляет опасность не для одних «врагов», но для общества как социального организма, для нравственности всего народа. Оно деформирует национальную историю и культуру. Эти гуманистические прозрения уже присутствуют и в рассказе «Шибалково семя», и в чудесном автобиографическом рассказе «Нахаленок», в рассказах «Родинка», «Жеребенок»... Исследователи позднее обратят внимание на массу подробностей, перешедших из «Донских рассказов» в «Тихий Дон». Так, в рассказе «Чужая кровь» (1926) дед Гаврила и его старуха выхаживают раненого продотрядника Николая, как сына, несмотря на то что когда-то он приходил отбирать их хлеб. Пуховые перчатки, присохшие к окровавленной голове пленного в рассказе «Семейный человек» (1925), как прикрытие от ударов, перейдут в «Тихий Дон»: там Иван Котляров на этапе будет прикрывать голову от солнца, мух, слепней перчатками, и они присохнут к ране. Но гораздо важнее другое: сам народ уже как бы создавал по крупицам Григория Мелехова, воплощение высшей правды, контроля самой жизни над безумствами, горечи и тревоги по поводу удешевления человеческой жизни.

И еще одна важная деталь. Уже разнесся в пространстве «Донских рассказов», этого новеллистического пролога «Тихого Дона», крик матери, обращенный к враждующим сыновьям:

«— Сыночек! Мишенька!.. А я-то как же? Всех вас одной грудью кормила, всех одинаково жалко!»

Это предвещает будущую Ильиничну, великодушно прощающую «супостата» Мишку Кошевого, убившего ее сына Петра, ставшего мужем дочери Дуняшки.